

A woman in a long, flowing white dress stands with her back to the camera, looking towards a grand classical building. The building features several tall, fluted columns supporting a portico. The scene is set in a lush garden with numerous red roses in the foreground and background. The sky is clear and blue.

Алена Демидова

*Завещанная
память*

Алена Демидова

Завещанная память

«Автор»

2026

Демидова А.

Завещанная память / А. Демидова — «Автор», 2026

Клавдия родилась в усадьбе с белыми колоннами, читала Библию на латыни и бегала среди роз благоухающих на усадьбе . Это — наша семейная тайна, наш клад. Наш ангел ,который показал ,как можно не сломаться в этой жизни . «Завещанная память» — это попытка зафиксировать ускользающее прошлое, пока оно не исчезло навсегда. Это книга о том, что настоящая сила не в громких подвигах, а в способности сохранить свет души, даже когда мир вокруг рушится. Это не исторический документ и не научное исследование. Это семейное предание, записанное со слов бабушки Клавы, — живая, местами противоречивая, но до боли искренняя история. Правда здесь соседствует с легендой, а боль — с тихим чудом, которое нельзя объяснить. И тысячи ,миллионы людей проживали этот век ,тяжелый век !Но это наша память ,которую мы обязаны передать нашим будущим поколениям . Родилась в усадьбе с колоннами, а спать ложилась на полу в теплице. Читала на латыни — и варила сталь в цеху, когда муж ушёл на фронт и не вернулся.

© Демидова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Завещанная память

Глава

Посвящение

Моей бабушке, Клавдии Ивановне, чья жизнь стала для меня главным примером того, как можно сохранить свет души даже в самое темное время.

С детства я восхищалась твоей судьбой и характером. Помню твои руки — тонкие, почти прозрачные, с голубыми прожилками; руки, которые умели и строгать картошку в голодные годы, и нежно гладить по голове правнуков. Помню твой взгляд — мудрый, спокойный, знающий цену всему: и молчанию, и слову.

Ты носила в себе целый мир. Мир, которого больше нет. Мир с запахом яблонь и волшебного паркета, с бликами солнца на белых колоннах, с гулким эхом больших коридоров. Ты никогда не жаловалась. Никогда не говорила: «Вот раньше было лучше». Ты просто жила. Достоинно. Ты прошла через многое, но сумела сохранить себя.

Ты научила меня главному: что ни ветры истории, ни слом эпох не могут отнять у человека его внутреннюю силу. Сохранить умение видеть красоту в первом весеннем листе, радоваться чашке горячего чая, любить тишину и помнить.

Ты ушла, забрав с собой последние живые воспоминания о том времени. Но оставила мне — нам — самое ценное: пример стойкости. Пример того, как можно пронести через все бури и лихолетья чистую душу, способность любить, и ту тихую, нерушимую веру, которая не зависит ни от храмов, ни от властей.

Эта книга — попытка вернуть тебя. Хотя бы на страницах. Попытка понять, как ты стала такой — мудрой, терпеливой, светлой. Как из девочки в шелковом платье, бегающей между розовыми кустами, превратилась в ту бабушку, которая в девяносто лет с любопытством разглядывала мой смартфон и говорила: «Какая прелесть! Весь мир в ладошке».

Ты всегда в моей памяти. В каждом моем добром поступке есть твоя доля. В каждом проявлении терпения — твой урок. Ты не стала историей — ты стала частью моего характера, моей совести, моего понимания жизни.

Спасибо тебе. За всё.

Вечная память и вечная любовь.

Твоя внучка.

Пролог. 2014 год

Тишина в комнате была особенной, густой, как будто время наконец выдохнуло после столетнего бега. За окном шумел другой мир, но здесь, среди старых фотографий и выцветших кружев, царил покой. Она лежала, такая легкая, почти невесомая, и казалось, будто ее жизнь — не линия от рождения до смерти, а огромный сложенный веер. Каждая складка — эпоха. Раскроешь одну — запах яблонь усадьбы и звонкий лай собак. Другую — гулкий холод барака, гул завода, голод войны. Третью — тепло близких, блики свечи на иконе.

Ее век начался в огне революции, а закончился в сиянии смартфонов, которые она с любопытством рассматривала в руках правнуков. Она пережила всё. И носила в себе как драгоценную и горькую тайну, память о доме с белыми колоннами, который давно стал призраком, и о той девочке в шелковом платье, которая в нем жила. Ее звали Клава. Это история о том, как целый мир может поместиться в одной человеческой жизни и как этот мир можно пронести сквозь бури, не уронив достоинства.

Глава 1. Девочка из дома с колоннами. 1917–1930 гг

Она родилась не просто в доме. Она родилась в усадьбе. В родовом гнезде Бабиковых — семьи, чья история началась за сто лет до ее появления на свет.

Всё началось с Гурьяна. Простой, крепкий, как корень, кустарь Гурьян еще при крепостном праве славился на всю округу золотыми руками. Он не пахал землю лучше других — он чувствовал дерево. Из-под его топора и ножа выходили не просто сани или телеги, а легкие, прочные, не по-крестьянски ладные брички. Слух о «бабиковских брычках» (прозвище пошло от его фамилии) разошелся далеко. Помещики, купцы, зажиточные мужики — все хотели иметь у себя творение Гурьяна.

Дело перенял его сын — Ефим Гурьяныч. Он был уже не кустарем-одиночкой, а хозяином. При нем небольшая мастерская разрослась в настоящую фабрику на берегу Камы. Ефим Гурьяныч, человек строгий и богобоязненный, ввел жесткий порядок, наладил сбыт, завел связи в губернском городе. «Бабиковские экипажи» стали маркой, символом качества и статуса. Он построил добротный, просторный дом — основу будущей усадьбы. Фамилия Бабиковы, а по-народному Гурьянычи, стала в округе уважительным прозвищем для всей семьи, знаком их трудовой, а не дворянской, но оттого не менее прочной славы.

У Ефима было три сына: Иван, Андрей и Федор. Как часто бывает, дети пошли вразнобой. Иван, старший, унаследовал отцовскую деловую хватку, спокойный ум и страсть к делу. Он учился, вникал в технологии, мечтал о станочном парке из Англии и о том, чтобы их фаэтоны брали призы на всероссийских выставках. Младший, Андрей, был его противоположностью: красивый, удалой, с горячей кровью. Его влекли цыганские хоры, карточные столы, бешеные тройки и легкие победы. Завод и ответственность были для него скучной обузой. Федор мучился здоровьем и в юном возрасте покинул семью. Он умер в самом расцвете сил.

Когда Ефим Гурьяныч умер, дело по завещанию и по справедливости перешло к Ивану. Андрею выделили деньги и доли в доходах, которые он с завидной регулярностью проматывал. Иван не осуждал брата открыто, но с болью наблюдал, как тот губит себя. Спасением для Андрея, да и для всей семьи, стала его жена — простая, добрая и невероятно терпеливая женщина из соседнего села. Ее звали Лидия. Она не переделала мужа, но стала его «якорем», рожала ему детей и тихой, непрестанной молитвой и трудом пыталась удержать от окончательной пропасти. Иван уважал невестку и помогал ей тайком от брата, видя в ней настоящую христианку и страдальицу.

Ветка мятежная

Судьба его младшего брата, дяди Андрея, сложилась иначе и куда более трагично. Если Иван унаследовал деловую хватку, то Андрей — горячую, бунтарскую кровь деда Гурьяна, но направил ее не в дело, а в водоворот политических страстей времени. Его сын, названный в честь брата Иван Андреевич, пошел еще дальше. Избалованный, пылкий, воспитанный на романтических рассказах о борьбе за свободу, он окунулся в кипящий котел революционных событий. В Камбарке, где осела эта ветвь семьи, его имя вскоре стало известно. В 1917—1918 годах сын Андрея Ефимовича и младший брат Ивана, Шура, еще был совсем мальчишкой. Он оказался вовлечен в водоворот событий: примкнул к молодежным отрядам, связанным с местными революционерами-максималистами.

Его отец, Андрей Ефимович, к тому времени совсем не касался заводских дел, но революционный пыл в нем разгорелся. Вместе с сыном Шурой они оказались по одну сторону баррикад — на стороне новой, советской власти, установление которой в их краях проходило кроваво и беспощадно. Иван занимал мелкие посты в ревкоме, а Шура, по легендам, которые потом растиражируют школьные учебники Удмуртии, «организовал боевую дружину для борьбы с врагами революции». На деле всё было прозаичнее и страшнее: он был связным,

мальчишкой на побегушках в суматохе гражданской междоусобицы, где четких линий фронта не было, а были соседская ненависть и жестокость.

Осенью 1918 года, когда в Камбарку вошли восставшие против большевиков части Ижевско-Воткинской армии, для семьи Бабиковых наступил страшный час. Отца и сына арестовали одними из первых — как известных сторонников комиссаров. Никакого героического допроса с пытками, где мальчик молчал, не выдавая товарищей, скорее всего, не было. Была обычная быстрая и беспощадная расправа. Одиннадцатилетнего Шуру не стали судить — его, как ребенка, жестоко убили, повесив на воротах у базара в назидание другим. Это была не героическая гибель за идею, а простая, тупая жестокость Гражданской войны, в которой гибли дети.

Позже, когда советская власть укрепилась, эту историю переписали. Из Шуры сделали пионера-героя (хотя пионерии тогда еще не существовало), посмертно приняли в ее ряды, сочинили про него стихи и поместили его имя в списки юных борцов. Настоящая страшная и бессмысленная смерть мальчика на базарных воротах не годилась для героического мифа. Ее заменили на расстрел у стены, добавили стойкости под пытками и чеканные предсмертные слова. Так родилась легенда о Шуре Бабикове. Но в семье главных Бабиковых, в доме с колоннами, об этой истории знали лишь по обрывочным пугающим слухам. Иван Ефимович, получая скудные известия, лишь тяжело вздыхал и крестился: брат Андрей и его несчастный сын стали еще одним горьким упреком бурному времени, которое ломало не только уклады, но и сами жизни, превращая их то в прах, то в бронзу монументов.

Глава 2. Возвращение к Клавочке

Иван Ефимович, папенька нашей Клавы, оказался достойным преемником. При нем дело достигло наивысшего расцвета. Он не просто продолжил дело, он его преобразил. Пригласил инженеров, закупил заграничные станки, построил новое кирпичное здание фабрики, а главное, возвел на высоком берегу Камы тот самый дом с белыми колоннами. Не дворец, но просторную, светлую, изящную усадьбу в классическом стиле — символ прочности, вкуса и успеха Гурьянычей. Это был его триумф, плод труда трех поколений.

Именно в этом мире, созданном прадедом Гурьяном, взлелеянным дедом Ефимом и вознесенном на недостижимую высоту отцом Иваном, и родилась Клавдия — Клава. Последний, неожиданный ребенок в семье, появившийся на свет, когда отблески прежнего прочного мира уже начали меркнуть перед лицом новой неумолимой эпохи.

Первое, что она запомнила сознательно, — это не мамино лицо, а блики солнца на белоснежных колоннах портика. Они были гигантскими, могущественными, держали небо. А между ними распахивался огромный светлый мир. Вокруг Клавы в накрахмаленных юбках шуршали няньки. Маменька посещала ее редко.

Девочка научилась читать настроение по скрипу крахмала и мягкому, но неотступному касанию рук на спине, направляющих ее движение. Мир между колоннами был полон света и простора, но он всегда был очерчен этим шуршащим кругом. Визиты маменьки были подобны празднику: от них пахло духами, шелестело шелком, они приносили взрыв ласки — такой непривычной, что после нее хотелось плакать. Но праздник всегда заканчивался, дверь закрывалась, и вновь наступало тихое, размеренное царство нянек, где главными были не объятия, а правила.

Ее мир звучал. Звучали сонатами Рахманинова, которые неуклюже, но упорно выбивала из рояля гувернантка. Звенел тонким фарфором за большим обеденным столом, за которым она, самая младшая, сидела на высоком стуле с подушкой. Гудел голосами рабочих из цехов внизу, у реки, где день и ночь кипела работа: пилили, стругали, клеили, красили. Весь городок при усадьбе жил ритмом их производства.

Ее мир пах. Пах лошадиной сбруей и сеном от конюшен, где стояли десятки великолепных лошадей: гнедые, вороные, рыжие. Пах речным ветром, смешанным с запахом свеже-

струганной древесины. И сладко пах воском, которым натирали паркет в зале, где она любила кататься в одних чулках.

А еще в ее мире были свет и шелк. Когда кругом в деревнях щупали темноту керосиновыми лампадками, в доме Бабиковых щелкали выключатели, и комнаты заливались ровным, ярким электрическим сиянием от собственной динамо-машины. Стены парадных комнат были обтянуты шелком: нежно-голубым — в гостиной, вишневым — в столовой, кремовым с золотым узором — в библиотеке. Шелк поглощал звуки, делая шаги бесшумными, а голоса — приглушенными, и блики от канделябров скользили по его гладкой поверхности, как живые существа.

Но внутри этого прекрасного, прочного дома жила ее самая первая и непонятная боль. Мама. Холодная, прекрасная, как мраморная статуя. Ее любовь, как солнечный свет в пасмурный день, пробивалась редко и случайно. Основным ее чувством к поздней, неожиданной дочери была, кажется, отстраненность. Клавочка была не ошибкой, но... невольным напоминанием о возрасте, о том, что жизнь течет. Брат, старше на целых двадцать лет, был уже взрослым мужчиной, хозяином, помощником. А она — последней куклой в огромном доме.

Александра Ивановна Бабикова, маменька Клавы, была женщиной, чья внешность говорила о силе и породе лучше любых документов о дворянстве. Высокая, с прямой, будто аршин проглотила, спиной. Она носила строгие платья темных тонов, от которых еще более ослепительной казалась ее кожа — белая, холодная, как фарфор. Ее волосы, густые и тяжелые, цвета воронова крыла были всегда убраны в тугой узел на затылке, открывая высокий чистый лоб и властный взгляд. Она была не просто красива — она была монументальна.

Иван Ефимович, папенька, был ее противоположностью. Невысокий, сухопарый, с живыми, быстрыми движениями. Его лицо украшала аккуратная клиновидная бородка, уже сильно тронутая сединой. Но главное — это были его глаза. Небольшие, глубоко посаженные, они постоянно щурились будто от ветра или от привычки вглядываться в даль, в суть вещей. В этих глазах жила усталая доброта и недосказанность. Он редко смеялся громко, но его взгляд мог согреть, как луч слабого осеннего солнца. Он говорил с дочерью мягко, спрашивал об уроках, о книгах, и в эти редкие минуты Клава расцветала, стараясь выжать из общения каждую крупинку отцовского внимания.

Она знала его секрет. Знала, что по ночам, когда весь дом погружался в сон, а в коридорах гуляли только сквозняки да тени от керосиновой лампы сторожа, папенька бесшумно спускался по задней лестнице, ведущей в сад. Клава не раз видела из окна своей комнаты его небольшую согбенную фигурку, быстро шагающую по тропинке к калитке в дальнем конце парка, которая вела к старой липовой аллее, а та — напрямиком на ту самую улицу, где его ждал другой дом, другая жизнь. Она не осуждала его. В его ночных уходах было столько тоскливой решимости, что ей становилось жаль и его, и себя, и даже ту холодную статую в спальне на втором этаже.

И еще в этом мире были собаки. Много собак. Не просто дворовые псы, а породистые легавые и сеттеры для охоты, пушистые колли, которые сопровождали детей на прогулках. Они спали на коврах в коридорах, встречали хозяев радостным лаем, их теплые морды тыкались в ладони, выпрашивая ласку. Для Клавы, лишенной материнской нежности, эти преданные глаза и влажные носы стали первым уроком безусловной любви.

Глава 3. Шелк, розы и запретная книга. 1927 год

Лето в усадьбе было царством роз. Они плелись бешеным ароматным потоком по беседкам, взбирались на колонны, клумбы утопали в шапках пунцовых, белых и розовых бутонов. Садовник Игнат, бывший солдат, ухаживал за ними с воинской строгостью. Говорил, розы — это душа поместья, и пока они цветут, всё будет хорошо. Клава верила ему. Она бегала между

кустами, и подол ее легкого платья цеплялся за колючки, оставляя тонкие нити на шипах — словно роза пыталась удержать кусочек детства, которое уже утекало сквозь пальцы как вода.

Ее настоящим убежищем стала не беседка в розах, а тихая прохладная библиотека. Здесь, в кожаных креслах, пахло старой бумагой, древесной пылью и мудростью. В десять лет она уже проглотила всю детскую литературу и с любопытством набросилась на толстые тома в потрепанных переплетах. Учитель-гувернер, удивленный ее способностями, начал учить ее латыни. Для Клавии это не было трудным занятием; это был волшебный ключик, открывающий потаенные комнаты в мире знаний. Звучные слова складывались в стройные фразы, как узоры в калейдоскопе.

...Однажды, роюсь в дальнем шкафу, она нашла огромный фолиант в потертом кожаном переплете с медными застежками. *Vulgata*. Старый Завет на латыни. Это стало ее самой большой тайной и самым страстным увлечением. Она пряталась с книгой на широком подоконнике в нише за тяжелой портьерой. Солнечный луч, падающий сквозь стекло, освещал пожелтевшие страницы, и древние истории оживали...

Но внутри этой прекрасной прочной оболочки из шелка, роз и латыни жила ее первая, непонятная боль. Одиночество. И Бог из книг стал ее собеседником. Она не просто читала — она искала. Искала ответы на вопросы, которые не могла задать никому: «почему мама такая холодная?», «почему папенька уходит ночами?», «что такое любовь, настоящая?»

И вот, блуждая по Книге Бытия, ее взгляд упал на строчку в шестой главе. Она прочитала ее сначала про себя, потом вслух, шепотом, ощущая странный трепет от древних, торжественных слов: *Eritque spiritus meus in hominibus, quia sunt caro: et erunt dies illorum centum viginti annorum*¹.

Сто двадцать лет. Она отложила книгу, задумавшись. Это было много. Очень много. Но ее детский пылкий ум не удовлетворился. Она искала дальше, листая страницы, пока не нашла восьмидесятый псалом. И когда она прочитала десятый стих, ее глаза расширились от изумления. Она прочла медленно, вникая в каждое слово: *Dies annorum nostrorum: in ipsis septuaginta anni. Si autem in potentatibus, octoginta anni: et amplius eorum, labor et dolor*².

Семьдесят? Восемьдесят? А сто двадцать? Противоречие задело ее. Она чувствовала, что здесь кроется какая-то тайна, утерянный смысл. И она решила копнуть глубже. В книге пророка Исаии, в главе шестьдесят пятой, она нашла то, что искала, — слова, которые поразили ее, как удар колокола. Строфа двадцатого стиха заставила ее сердце забиться чаще: *Non erit ibi amplius infans dierum, et senex, qui non impleat dies suos: quia puer centum annorum morietur*³.

Столетний — юноша? Она перечитала. Перевела мысленно снова. Ее ум, острый от одиночества и привыкший к точности языка, соединил обрывки. Бытие говорило о пределе, данном после потопа. Псалом — о суровой реальности греховного мира. А Исаия... Исаия говорил о первоначальном замысле. О том, каким мир должен был быть. И каким, может быть, будет снова.

И тогда в ее голове сложилась собственная, детская, но поразительно ясная догадка. Она не была богословом. Она была ребенком, читающим на языке ангелов и пророков. И она поняла это так: Бог создал тело человека совершенным, рассчитанным на века — может, на те самые триста лет или больше, о которых говорили древние патриархи до потопа. Грех, страдания, этот падший мир — они съедают жизнь, как ржавчина — железо. Они укоротили дни. Но в самой плоти, в ее устройстве, заложен потенциал для иной, долгой жизни. Потенциал, ждущий своего времени.

Это открытие стало для нее не научным фактом, а откровением о ценности. О том, что жизнь — бесценный, почти вечный дар, который люди растрачивают так легко. Что каждый день, каждый вздох — это частица той самой изначальной долгой вечности, от которой оста-

лись лишь осколки. Она смотрела на тонкие, живые руки и представляла, что в них скрыта память о трехстах годах. И чувствовала одновременно восторг и огромную грусть.

Именно с этой мыслью, с этой сокровенной, личной тайной о вечном теле и застала ее маменька, Александра, неслышно войдя в библиотеку. Девочка была так погружена в мысли, что не услышала шагов. Она сидела, обхватив колени, и смотрела в окно, на белые колонны, мысленно измеряя их прочность столетиями.

— Что это у тебя, Клабочка? — Голос был ледяным.

— Читаю, маменька... — Девочка попыталась прикрыть книгу, но было поздно.

Александра быстрым движением выхватила фолиант. Застежки грохнули. Она взглянула на раскрытую страницу — это была как раз та глава Исаии, — и краска сошла с ее щек.

— Это... это не для детских глаз. Это не для твоего разума. Видения, сроки, вечность... Ты хочешь сойти с ума?

— Но я поняла, маменька! — вырвалось у Клавды, переполненной жадной жаждой поделиться открытием. — Я поняла! Тело наше, оно ведь могло бы жить...

— Молчать! — Мать впервые повысила на нее голос, и в нем дрожал не просто гнев, а настоящий животный страх. Страх перед знанием, которое не вписывалось в ее упорядоченный холодный мир. Страх перед дочерью, которая видела дальше условностей. — Не смей даже думать об этом! Грех это — заглядывать в такие тайны! Дни наши сочтены, и точка. Займись лучше музыкой. Или вышиванием.

Она захлопнула книгу, крепко прижала ее к груди, будто заточила в клетку не только текст, но и саму мысль дочери. Но мысль эту уже было не убить. Она ушла вглубь, в самый фундамент души Клавды, став частью ее самого сокровенного, личного Бога — Бога, который создал человека для долгой-долгой жизни, а не для ранней смерти. Эта вера в изначальную, заложенную в плоти прочность станет потом ее тайной опорой. Тело рассчитано на века страданий и радостей. И если оно ломается раньше — виноват не замысел Творца, а жестокий излом мира.

Но пока она была просто девочкой, у которой отняли ее главную книгу и ее самое смелое откровение. И в тот момент она поняла еще одну горькую вещь: маменька боялась не за ее рассудок. Она боялась самой идеи, что жизнь, даже их — такая красивая и хрупкая, может быть частью другого, неподвластного ей замысла.

Бабиковы были закоренелыми староверами — из тех, кто хранит «древнее благочестие», передавая уклады из поколения в поколение. Они соблюдали традиции и обряды, дух суровой и нерассуждающей праведности. Соблюдали строгие посты, начинали и заканчивали день с молитвы, делали хождение посолонь⁴ во время крестных ходов. Поэтому у Александры лишнее любопытство Клабочки вызвало гнев и раздражение.

Глава 4. Тайна семьи

Историю о папеньке, Иване, и его другой семье она узнала по кусочкам, из обрывочных разговоров прислуги, из тягостного молчания, висевшего между родителями. Иван Бабилов был умным, образованным, но печальным человеком. Его брак с красавицей Александрой был деловым союзом двух состояний, скреплением земель. Любви там не было с самого начала. И он нашел ее на соседней улице в небольшом, уютном доме, где его ждали простая, добрая женщина и сын. Он навещал их, обеспечивал и, кажется, именно там был по-настоящему счастлив. Сын был назван в честь старшего брата Клавды.

Так как у Ивана Ефимовича было два сына, рождение Клабочки укрепило позицию Александры.

Клабочка была обделена любовью. Но не способностью любить. Всю нерастрченную нежность она отдавала собакам, которые преданно смотрели ей в глаза, книгам, розам и Богу.

И тому далекому доброму папеньке Ивану, чьи редкие прикосновения к ее голове были для нее как благословение.

Но был в ее мире и островок абсолютного кристального счастья — дача на острове. Посреди широкой, величавой Камы лежал небольшой, поросший соснами и елями остров, принадлежавший Бабиковым. Летом семья (кроме Александры Ивановны, предпочитавшей в жару оставаться в прохладных залах большого дома) перебиралась туда. Деревянный резной дом, похожий на терем, утопал в цветах. Здесь царила иная, вольная атмосфера. Можно было бегать босиком по траве, мокрой от утренней росы, купаться в протоке с теплой, почти стоячей водой, ловить на удочку пескарей.

И здесь тоже были колонны — легкие, деревянные, увитые хмелем и диким виноградом, поддерживающие крышу двух беседок. В одной стоял стол для чаепитий, в другой — удобные плетеные кресла-качалки. Иван Ефимович здесь преображался. Щурящиеся глаза светились миром, он много шутил с прислугой, учил Клаву забрасывать невод или разводить костер для самовара. Запах хвои, речной воды, нагретого солнцем дерева и меда от цветущего липового цвета складывался в один-единственный запах — запах свободы и детства.

Именно здесь, на этом острове, глядя, как закат окрашивает воду Камы в пурпур и золото, Клава впервые осознала, что счастье — вещь мгновенная и хрупкая. Его нельзя поймать и удержать в доме, как птицу в клетке. Его можно только ловить моментами: вот этот луч на воде, вот этот смех отца, вот эта полная грудь воздуха, пахнувшего рекой и свободой. И бережно складывать про запас в ту самую память, которая станет ее главным сокровищем и крепостью на долгие годы вперед. Она еще не знала, как скоро наступит время, когда ей придется черпать силы из этих солнечных островных дней, как из неиссякаемого колодца.

Глава 5. Достойный наследник

В этом прекрасном, но хрупком мире была еще одна важная фигура — старший брат, Михаил. Для маленькой Клавы он был существом почти мифическим: взрослым, занятым, отделенным от нее не только двадцатью годами разницы, но и целой вселенной мужских, деловых интересов.

Михаил Иванович Бабилов был достойным наследником и гордостью отца. Высокий, как мать, и с ее же властным складом лица, он, однако, унаследовал отцовскую складку ума и прищур в глазах, когда что-то обдумывал. Иван Ефимович позаботился о том, чтобы сын получил лучшее по тем временам образование. Михаил окончил Императорское Московское техническое училище⁵ и вернулся в усадьбу не просто образованным баринном, а дипломированным инженером.

Его брак был событием, о котором говорила вся губерния. Он женился на Базуевой Александре Павловне, дочери не менее богатого соседа-заводчика, чьи владения и производства идеально дополняли Гурьянычей. Это была блестящая партия, скреплявшая не только сердца (ходили слухи, что между молодыми и впрямь возникла симпатия), но и капиталы, и деловые перспективы. Шурочка (так нежно называл ее Миша) принесла с собой не только большое приданое, но и современные, столичные манеры. Она была элегантна, умна и быстро стала настоящей хозяйкой в одной из двух парадных гостевых комнат, переделанных для молодой семьи.

К тому времени, как Клава начала осознавать себя, у Михаила и Александры уже подрастали трое детей.

Михаил не просто числился при деле — он был правой рукой отца. С утра в строгом костюме или в инженерной блузе он отправлялся на производство: следил за работой цехов, внедрял новые технологии, которые изучал в Москве, вел переговоры с поставщиками и подрядчиками. Иван Ефимович, с годами все больше устававший, с гордостью и облегчением передавал ему бразды правления. Михаил готовился занять место отца не по праву наследования, а по праву компетентности. Он говорил о рационализации, производительности и конкуренции

— словах, которые еще были в диковинку для старого управляющего, но которые означали, что мир Бабиковых, пусть и с опозданием, пытается шагнуть в новую, индустриальную эпоху.

Для Клавы Михаил был добрым, но далеким силуэтом. Он мог потрепать ее по голове за обедом, спросить: «Что, Клавочка, все с книжками?» — и, не дожидаясь подробного ответа, погрузиться в разговор с отцом о поставках колесных осей или о новых железнодорожных подъяках. Его мир — мир расчетов, чертежей, паровых машин и контрактов — был так же чужд и недоступен ей, как и мир материнского холодного совершенства. Но в его существовании была твердая, обнадеживающая надежность. Пока огромный, могучий Михаил здесь, пока он управляет фабрикой и растит детей во флигеле усадьбы, кажется, ничто не может поколебать устоев их жизни. Он был живым мостом между патриархальным укладом отца и неопределенным будущим, опорой, на которой держалось настоящее.

Если бы у счастья был запах, то здесь он пах бы так: теплой хвоей, нагретой солнцем смолой, сладкой пылью с лип, медовым духом с ближнего луга и едва уловимым холодным дыханием широкой Камы. А если бы у счастья был цвет, то он был бы зеленым — изумрудным от сосен, изумрудным от травы и голубым — от бездонного неба, отражавшегося в воде.

Остров был их миром. Миром на время. Здесь стирались строгие правила большого дома, гул цехов доносился лишь как далекое, невнятное урчание. Семья Бабиковых перебиралась сюда на всё лето. В просторном резном тереме с причудливыми коньками на крыше жили все: Иван Ефимович с Александрой Ивановной (которая и здесь предпочитала тень прохладных комнат), Михаил с Шурочкой и их детьми и, конечно, Клавочка — самый свободный обитатель этого царства.

Дети Михаила и Александры для Клавы были не племянниками, а старшими, почти волшебными товарищами по играм.

Костя — старший, долговязый и спокойный, с умными глазами, уже в двенадцать лет рассуждавший как взрослый, но на острове превращавшийся в самого азартного организатора прятков и строителя шалашей.

Вера — девочка на год младше Кости, с двумя толстыми светлыми косами и веснушками. Она была душой всех затей, ее звонкий смех разносился по всему острову.

Аполлон, или просто Поленька, — младшенький, пухлощекий сорванец семи лет, который везде лез, все хватал и обожал свою тетю Клаву, которая была всего на три года его старше.

Их было четверо. Неразлучная четверка. В этот день они были одеты в легкие летние наряды: Клава и Вера — в платьица из батиста (Клава — в голубом, Вера — в розовом) с кружевными воротничками. Мальчишки — в светлые парусиновые костюмчики, уже запачканные травой и смолой.

Бежали они не просто так. Они играли в свою самую тайную игру, правила которой знали только они четверо. Игра называлась «В поисках сокровища Камы». Сокровищем могла быть необычная ракушка, гладкий камень или даже найденное в лесу птичье перо. А чтобы определить, кто сегодня ищет, а кто прячет «сокровище», у них была своя, никому более не ведомая считалка. Ее придумал Костя, смешав латинские цифры, которые учила Клава, с каким-то своим детским тарабарским языком.

Они собрались в кружок у одной из двух беседок — той, что была увита диким виноградом и хмелем. Солнечные блики прыгали по их серьезным, сосредоточенным лицам. Клава, как самая младшая из «взрослых» детей, торжественно начала, водя пальцем по кругу над ладошками:

— Разим... двазим... тризим...

Вера подхватила, ее голосок звенел как колокольчик:

— Ризим... пяты... латы...

Костя с важным видом довел до кульминации:

— Шахмы... баты...

И все хором, включая визжащего от восторга Поленьку, выкрикнули финал, на котором указательный палец Клавы останавливался на ладошке Аполлона:

— Ве-ин... тюк!

Аполлон взвизгнул от радости — водящим был он! Остальные с шумом и криками разбежались, чтобы спрятать «сокровище»; на этот раз это был кусочек горного хрусталя, привезенный кем-то из города.

Клава и Вера, взявшись за руки, понеслись через луг, усыпанный ромашками и колокольчиками. Подолы платьев цеплялись за высокую траву, в воздухе стоял густой, пьянящий аромат цветов. Они добежали до старой, склонившейся над водой ивы. Вера ловко, как мальчишка, вскарабкалась на толстый сук.

— Сюда, Клавка! Сюда — идеально! — прошептала она.

Клава подала ей камень. Их лица были покрасневшими от бега и смеха, глаза сияли абсолютным, безмятежным счастьем. В этот миг не существовало ничего, кроме лета, острова, игры и их нерушимой четверки.

Потом были поиски. Аполлон, надув щеки, важно обходил все известные места, а трое остальных, едва сдерживая смех, прятались за стволами сосен и подсказывали ему то верно, то заводя в дебри. Наконец сокровище было найдено под корнями ивы под восторженные крики.

Усталые, довольные, они повалились в мягкую траву у второй беседки, где стоял стол для чаепитий. Оттуда доносились спокойный голос Ивана Ефимовича и смех взрослых. Солнце клонилось к закату, окрашивая Каму в золото и пурпур. Клава лежала на спине, глядя в небо сквозь кружево листьев винограда. Рядом сопел засыпающий Аполлон, положив голову ей на плечо. Вера плела венки из ромашек. Костя что-то чертил палочкой на песке.

— Навсегда так будет, — тихо, неожиданно для себя, сказала Клава.

— Что будет? — спросила Вера, не отрываясь от венка.

— Всё. Остров. Мы. Игра. Лето.

Костя посмотрел на нее взрослыми глазами и улыбнулся.

— Конечно, будет. Мы же всегда будем вместе. Мы клан. Клан с острова.

Но в тот вечер под раскидистыми липами, в аромате нагретой за день земли и предвкушении вечернего чая с вареньем они были просто детьми. Абсолютно счастливыми. И считалка «Разим, двазим, тризим...» была для них не набором бессмысленных слогов, а тайным заклинанием, навечно скреплявшим их дружбу и этот островной рай, который они наивно считали вечным.

Лето заканчивалось, и уже пора было возвращаться в имение.

Последние дни на даче висели в воздухе, как паутинка, — прозрачные, зыбкие, готовые оборваться в любой миг. Солнце, еще яркое, светило по-другому: не слепило, а золотило — и длинные тени от берез ложились на землю с утра, напоминая о скором вечере. В саду пахло не буйством цветов, а влажной землей, спелыми яблоками и легкой грустью.

Детям так не хотелось возвращаться.

Возвращаться — значит запереть этот огромный мир свободы в крошечную коробочку воспоминаний. Оставить поляны, где можно было носиться босиком до головокружения, и лесные ручейки с холодной, щекочущей водой. Проститься с сеновалом, пахнущим сном и сухим клевером, где так здорово было прятаться и читать тайком принесенные книги.

Дом с белыми колоннами виделся им теперь не милым, родным домом, а царством строгих правил. Там ждали выглаженные воротнички, обязательные уроки с гувернанткой, чинные чаепития в гостиной и пристальные взгляды взрослых. Там не было места для этих диких, счастливых криков, для штанов, запачканных в смоле, для загара, легшего веснушками на носы и плечи.

Они медленно, словно в полусне, складывали свои сокровища в сундуки: потертую шишку, похожую на маленького ежика, ракушку, в которой еще слышался шум реки, засушенный между страницами василек. Каждая вещица была осколком уходящего рая.

В последний вечер они сидели на крыльце, кутаясь в пледы, и смотрели, как огромное багровое солнце тонет в лиловом мареве за лесом. Было тихо, и эта тишина была полной, торжественной и немного щемящей. Они молчали, каждый про себя прощался с чем-то своим: с запахом скошенного сена, с чувством, что завтрашний день длинен, как целая жизнь. Зеленым — изумрудным от сосен, изумрудным от травы и голубым — от бездонного неба, отражавшегося в воде.

Глава 6. Камин, в котором сожгли мир

Сначала новости приходили отдаленным гулом, как гром за горизонтом. Потом гром приблизился. В городке стали появляться чужие, суровые люди в кожанках. Они ходили по улицам, что-то записывали в блокноты, смотрели на дома, на фабричные корпуса у реки оценивающим, холодным взглядом.

В доме с колоннами говорили шепотом. Занавески на окнах были плотно задернуты, будто пытались скрыть не только свет, но и сам факт существования этой жизни. Иван Ефимович стал еще более молчаливым и сутулым, его прищуренные глаза теперь постоянно следили за входной дверью. Александра Ивановна, напротив, выпрямилась еще больше. Ее осанка стала вызовом, а холод во взгляде превратился в ледяную броню. Она отдавала прислуге приказания тем же ровным, бесстрастным голосом, будто за стенами ничего не происходило.

Михаил исчезал днями. Он не уходил на производство, а отправлялся в город, в новую контору, где теперь заседал ревком. Когда он возвращался, лицо его было серым от усталости, а в глазах стояло то, чего Клава никогда раньше не видела, — страх. Не за себя, а за своих детей, за Шурочку, за этот дом. Он пытался говорить с отцом, но их разговоры за закрытыми дверями кабинета превращались в сдавленные, отчаянные споры.

— Отец, нужно идти на компромисс! Отдать часть цехов, объявить о готовности работать на новую власть... как специалист!

— Работать на тех, кто грабит? На тех, кто называет меня кровососом? Я строил это сорок лет, Миша!

— Если не пойдем навстречу, отнимут всё. Всё! И посадят. Или...

Он не договорил. В воздухе повисло невысказанное слово, которое было страшнее любого другого.

Однажды вечером Михаил не пришел к ужину. Шурочка, бледная как полотно, сказала, что он задержался на важном собрании. В ту ночь Клава проснулась от странных звуков: приглушенных голосов, тяжелых шагов по паркету, скрежета перемещаемой мебели. Она выглянула в коридор и замерла. В свете керосиновой лампы Михаил и два незнакомых мужика в потрепанных фуражках выносили из кабинета отца тяжелый сейф. Лицо брата в прыгающих тенях было непроницаемой маской.

На следующее утро всё случилось.

Они пришли на рассвете. Не стучали. Просто распахнули парадную дверь — ту самую, под белыми колоннами. В дом ввалилась группа людей: двое военных с винтовками и трое в гражданском, с решительными лицами. Во главе — знакомый Клаве председатель ревкома, щуплый мужчина в очках, который раньше, бывало, почтительно снимал картуз перед ее отцом.

Иван Ефимович стоял в дверях гостиной в халате, и в этой нелепой домашней одежде он вдруг казался бесконечно старым и беззащитным. Александра Ивановна стояла рядом, одетая, как всегда, безупречно, словно собиралась не на высылку, а на прием. Ее взгляд, брошенный на пришедших, мог бы обжечь.

— Гражданин Бабилов. — Голос председателя звучал неестественно громко. — На основании решения революционного комитета о ликвидации помещичьего землевладения и экспроприации средств производства ваша усадьба, предприятия и имущество конфискуются в пользу народа. Вам и вашей семье предписано в двадцатичетырехчасовой срок освободить занимаемые помещения. Для проживания вам выделяется дом бывшего кучера Семена на Посадской улице.

В комнате повисла тишина, которую разрезал только тяжелый, свистящий вдох Ивана Ефимовича.

И тут из-за спины отца вышел Михаил. Он был одет в лучший темный костюм, но без галстука — деталь, которая кричала о новом порядке. Он не посмотрел ни на отца, ни на мать. Его глаза были прикованы к полу.

— Товарищ председатель. — Голос Михаила дрогнул, но он заставил себя говорить четко. — Я, Михаил Иванович Бабилов, как инженер и специалист, готовый своими знаниями служить рабоче-крестьянской власти, ходатайствую о смягчении участи... и подтверждаю факт эксплуатации наемного труда на предприятиях, принадлежавших моему отцу.

Слово «отцу» прозвучало как плевок.

Иван Ефимович вздрогнул, будто его ударили в спину. Он медленно, с трудом повернул голову к сыну. В его щурящихся глазах не было ни гнева, ни ненависти. Там было лишь одно — полное, бездонное крушение. Крушение всего мира, которое оказалось страшнее, чем приход чужаков с винтовками. Это было предательство самой основы — крови, семьи, доверия.

— Миша... — только и выдохнул он.

— Это правильное, классово выдержанное заявление, товарищ Бабилов, — кивнул председатель, и в его голосе прозвучала нота удовлетворения. — Ваша лояльность будет учтена. Вам и вашей семье разрешено остаться во флигеле. Пока.

Александра Ивановна не сказала ни слова. Она посмотрела на сына долгим ледяным взглядом, в котором была уже не просто холодность, а окончательный, бесповоротный приговор. Потом она подошла к мужу, взяла его под руку — жест невероятной, никогда ранее не проявлявшейся поддержки — и тихо, но очень четко сказала:

— Пойдем, Иван. Собираться.

В тот день, в последние часы в доме, Клава стала свидетельницей еще одного странного действия. В камине ее бывшей комнаты, где еще недавно она читала запретную книгу, Александра Ивановна методично, лист за листом, сжигала старые фотографии, письма, документы с гербовыми печатями. Пламя пожирало улыбки, лица, подписи, целые жизни. Мать делала это без слезы, без содрогания. Лицо ее в отблесках огня казалось высеченным из камня. Она сжигала прошлое, чтобы оно не стало оружием против них в будущем. Она сжигала мир, чтобы от него не осталось и праха.

Клава стояла в дверях и смотрела, как исчезают в огне лица незнакомых родственников, вид дачи на острове, портрет молодого папеньки. Она не плакала. Внутри у нее образовалась та же пустота, что и в камине после того, как догорела последняя бумага и остался лишь холодный серый пепел.

На Посадскую улицу они переезжали на одной телеге, запряженной старой клячей. Всё, что им было позволено взять, уместилось на ней: несколько узлов с одеждой, посуда, книги Клавы (латинскую Библию, конечно, не нашли: мать, видимо, сожгла и ее), тяжелое, резное зеркало Александры Ивановны и старая, но исправная швейная машинка «Зингер». Это была не просто вещь — это был инструмент выживания, мастерски ухваченный Александрой Ивановной в последний момент. «На всем свете люди носят одежду, — сухо пояснила она. — Ее нужно шить и чинить».

Домик бывшего кучера Семена был низким, темным, пахнущим сыростью, овчиной и кислой капустой. После светлых залов с паркетом и высоких потолков здесь всё давило и каза-

лось игрушечным. Иван Ефимович, войдя, сел на табурет у печки и больше не вставал. Он просто сидел, уставившись в одну точку на глиняном полу, и его шурящиеся глаза ничего не видели.

Клава вышла на крылечко. Отсюда, с задворок, не было видно белых колонн. Но она знала, что они там. И знала, что отныне между ней и ее миром стоит не только расстояние, но и тихий леденящий поступок брата. Михаил сдал отца, чтобы спасти своих детей. Можно ли его за это ненавидеть? Она не знала. Она знала лишь, что отныне слово «дом» для нее означало эту темную избу. А слово «семья» расколосось на две части, и острые края разрежали ее сердце всякий раз, когда она вспоминала взгляд отца в ту секунду, когда его предал сын.

Глава 7. Выбор. 1929 год

Флигель усадьбы, где теперь жили Михаил с Шурочкой и детьми, был и убежищем, и клеткой. После того дня, когда Михаил публично отрекся от отца, между супругами легла трещина, глубокая и молчаливая, как разлом в скале.

Александра Павловна, выросшая в похожей семье заводчика, была женщиной не только с тонким вкусом, но и с железным стержнем. Предательство она понимала в делах коммерческих, но не в крови. Вид согбенной, раздавленной фигуры свекра, которого уводили из дома, и ледяной, бесповоротный взгляд свекрови, Александры Ивановны, стал для нее приговором. Приговором мужу.

Разговоры они вели ночами, вполголоса, когда дети спали. Спальня их, некогда уютная, теперь была полем для тихих, отчаянных битв.

— Миша, как ты мог? — в сотый раз шептала Саша, глядя в темноту широко открытыми глазами. — Это же твой отец. Он тебе жизнь дал, дело передал.

— Чтобы спасти тебя! Костю, Веру, Полю, Зину, Сережу! — Его шепот был сдавленным, хриплым от бессонных ночей и папирос. — Ты думаешь, я не вижу, как они смотрят на наш флигель? На тебя? На детей? Мы следующее звено. Или я с ними, или мы все — там же, где отец. Или хуже.

— Значит, надо уезжать, — настаивала она, поворачиваясь к нему. В бликах лунного света ее красивое лицо было жестким. — Сейчас. Пока есть связи. Через Харбин. Моя племянница Женечка хочет попробовать. Или в Прибалтику. Всё продать, что осталось.

— Бежать? Куда? — Михаил горько усмехнулся. — Я инженер. Мое место здесь, на производстве, что я строил. Ты думаешь, за границей я кому-то нужен? Чужая страна, чужой язык... Мы станем нищими. А дети?

— Здесь мы станем подонками! — вырвалось у нее, и в голосе впервые прозвучали слезы. — Дети вырастут, зная, что их отец предал деда ради спасения своей шкуры. Как они будут на тебя смотреть? Как я теперь на тебя смотрю?

Он замолкал, закуривал очередную папиросу. Красная точка в темноте нервно подрагивала.

— Это не шкура, Шура. Это разум. Это холодный расчет. Новая власть — это надолго. Навсегда. Или ты встраиваешься в нее, или она тебя стирает в порошок. У отца не было выбора. У меня он есть. Я выбираю жизнь. Жизнь для вас. Пусть я буду для них «советским специалистом из бывших». Пусть будут проверки, подозрения. Но я буду работать. Я буду нужен. А ты будешь женой советского инженера, а не беглянки-эмигрантки. Дети будут учиться, а не просить милостыню на чужбине.

Он говорил убедительно, как инженер, доказывающий выгоды нового проекта. Но Александра слышала за словами не уверенность, а панический, животный страх. Страх человека, который увидел бездну и готов на всё, лишь бы не упасть. Даже на предательство.

— Я не могу, — сказала она на рассвете, окончательно и бесповоротно. — Я не могу жить в этом доме, где каждый кирпич кричит о том, что мы сделали. Я не могу дышать этим воздухом. Я поеду с детьми в Харбин.

Он не стал ее удерживать. Может, в глубине души он и сам хотел, чтобы кто-то из них сохранил достоинство. Чтобы его дети не дышали этим ядом компромисса. Он молча отдал ей все наличные, что удалось припрятать, и единственную фамильную драгоценность Александры — бриллиантовую брошь ее матери. «Продашь, если что», — только и сказал.

Отъезд был тайным, унижительным. Не на собственном экипаже, а на попутных телегах, потом — в товарном вагоне. Александра Павловна везла с собой пятерых перепуганных детей и одну сумасшедшую надежду, что где-то там, за границей, существует жизнь, похожая на прежнюю.

Путь на Дальний Восток был долгим кошмаром. Голод, холод, болезни. Но самым страшным оказались не они, а советско-китайская граница. Там в хаосе и неразберихе новых правил и старых страхов их обчистили до нитки. «Контрабанда», — коротко бросил полупьяный пограничник, забирая у Шуры чемодан с последними ценностями и деньгами. Брошь исчезла в кармане его шинели. Отчаяние, с которым она умоляла, глядя в безразличные глаза, было таким острым, что Костя, двенадцатилетний, навсегда запомнил его как вкус конца света.

В Харбине со своей попутчицей, дочерью старшего брата, они нашли приют в убогой комнатке китайского квартала.

Шурочка сидела на голом матрасе в пустой комнате. Рядом плакали перепуганные Вера, Аполлон, Зиночка и Сережа. Костя смотрел в окно на чужие иероглифы вывесок, и его лицо было по-стариковски бесстрастным. Куда? Без денег, без языка, без помощи. Одна с детьми в чужой, холодной Азии. Мысль о том, чтобы пойти на панель или просить милостыню, мелькнула и была с невероятным усилием отринута. Она была Бабиковой. Женой инженера Бабикова. Даже здесь, на краю света.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.